

И. П. СМИРНОВ¹**ВЕСТИ ОТТУДА, ГДЕ НАС НЕТ****Письменные ответы на вопросы автобиографического интервью**

УДК 101.9

DOI: 10.32691/2410-0935-2020-15-165-169



Вопрос 1. В первой половине 1970-х гг. я работал над книгой «Художественный смысл и эволюция поэтических систем». Она была посвящена переходу от символизма к постсимволистскому авангарду. Когда начальный вариант текста был готов, я понял, что он никуда не годится: как можно с полной уверенностью разбирать переход от одной диахронической системы к другой, если не иметь представления о том, что такое вообще движение духовной культуры по исторической оси? Переделывая написанное и пытаюсь специфицировать совершившиеся в начале XX века эстетические трансформации на фоне предшествующих им преобразований, я извлек отсюда тот урок, что част-

но определённые проблемы можно решить только в том случае, если подойти к ним как к общеопределённым. Отсюда и начался мой путь в философию. К прямым занятиям ею меня подтолкнуло сближение с Борисом Гройсом и Александром Пятигорским, случившееся в начале 1980-х гг. за границей. Но ещё до того примером философского мышления стал для меня мой учитель Дмитрий Сергеевич Лихачев, под руководством которого мне посчастливилось трудиться в Пушкинском Доме. Дмитрий Сергеевич не занимался собственно философскими разысканиями. Тем не менее, за каждым его исследованием, посвящённым древнерусской культуре, виделась мысль, не желавшая довольствоваться рабской зависимостью от материала, с которым ей непосредственно приходилось иметь дело. Чтобы думать философски, не обязательно быть профессиональным философом.

Тогда же, когда я переписывал начерно набросанный «Художественный смысл...», я задался вопросом о том, что заставляет меня гоняться за полной знания, пусть недостижимой, но крайне соблазнительной. Надобно полагать, что существует предрасположенность к философствованию и что она формируется в детстве. Моё первое воспоминание (очень раннее, мне только что исполнился год) – ужас от распятой перед окном дома, где я находился

¹ Смирнов Игорь Павлович, профессор Университета г. Констанц, Германия. Ответы получены в письменном виде. Интервью проведено в рамках грантового проекта «Философская автобиография как метод антропологической навигации» при поддержке РФФИ (проект № 19-011-00124).

(то была уральская деревня), свиной туши в разделочном сарае. До этого, как мне рассказывала мать, эшелон, в котором она со мной эвакуировалась из готовящегося к осаде Ленинграда на Урал, бомбили немцы на переправе через Волгу вблизи Чебоксар. Угроза смерти и её образ явились мне в самом начале жизни. Полноту жизнь обретает только в своём конце. Если он прояснился уже в детстве, то это обстоятельство становится драйвом, влекущим человека к знанию в его финальности.

Вопросы 2-3. Я издал две книжки, личные по содержанию: «Свидетельства и догадки» (СПб, 1999) и «Действующие лица» (СПб, 2008). Они в значительной части пересекаются, но и дополняют друг друга. Автор присутствует в них, но в основном постольку, поскольку делится своими соображениями о людях, с которыми его свела судьба, или об обстоятельствах времени, в которое он попал. Некоторые из этих соображений претендуют на философичность. Мне, однако, никогда не хотелось написать о себе как философе. И как просто человеку, и как человеку думающему, мне естественнее держаться в тени. Как и всем смертным, мне не чуждо желание быть признанным. Всё же оно не руководит мною – всплывает иногда, чтобы тут же стереться из сознания. Охота за признанием, так беспокоившим Гегеля, а вслед за ним Кожёва, подразумевает уступку себя своему времени – преходящему, «мимо текущему», как говорили в Древней Руси. Между тем, философия старается преодолеть ограничения, налагаемые на неё временем, в которое она возникает. Соблазненный жаждой признания, философ становится апологетом Прусской государственности, французским чиновником высокого ранга или, скажем, ректором университета, внушающего студентам нацистскую идеологию. Мы же воспринимаем сочинения этих мыслителей (Гегеля, Кожёва, Хайдеггера) за вычетом предпринятых ими жизненных шагов. Философ ценен идеями, которые он производит на свет, а не биографией, в которой он поневоле сродняется с людьми своей эпохи. Писать о себе с целью сплавить свою жизнь с мыслительной работой, сопровождавшей её, означает напрашиваться на то, чтобы быть принятым социумом, которому ты идёшь навстречу, преподнося себя не только как думающее существо, но и как одного из многих – такого же данника времени, как и большинство твоих современников. Как это ни покажется парадоксальным, откровение о себе подобного рода нескромно. Ибо оно есть уничтожение паче гордости.

Вопрос 4. Жизнь философа ничем не отличается от жизни прочих людей и вместе с тем разнится с ней всем. В роли обывателя он вместе с большинством пребывает в ожидании смерти, побуждающим к бегству от неё в развлечения, в автоматизм обсессивно воспроизводимых действий, в воображаемую реальность, в доведённое до максимума напряжение витальных сил – куда угодно. Но при этом философ способен переступить порог смерти, существовать *post mortem* за пределом существования, узревая таковое в его сущности. Только очутившись в ничто, и можно помыслить то всё, что ни есть, которое притягивает к себе внимание философа. Абсолютизируя свою позицию, он представляет себе «смерть человека», как то было свойственно французским постмодернистам, или уповает, как «новые реалисты», на достижение такой объективности, которая не была бы искажена сознанием субъекта. Не следует полагать, что эта абсолютизация – плод только последних лет. О том, что

будет после конца исторического человечества, думали и Блаженный Августин, чаявший Града Небесного, и маркиз де Сад, жертвовавший человека Природе, в которой царит насилие, и Маркс, веривший в наступление коммунизма, и Ницше, проповедовавший приход сверхчеловека, и русские апокалиптики символистской эпохи. Философ инобытиен по отношению к бытию, которое видит в целокупности. Он адекватен в своём мышлении Эросу, только если тот смешан с Танатосом (что отчётливо понял Батай). Для меня социокультура финальна, и мы, возможно, находимся на её последнем рубеже, но что за ним – принципиально неизвестно. Писатель тоже нуждается, согласно Бланшо, в переживании собственной смерти. Он возвращается из этой нулевой точки в поюсторонность, чувствуя себя там вторично родившимся, тогда как философ остаётся в потусторонности, чтобы осуществлять *creatio ex nihilo*. В известном смысле философия всегда у-топична («бытие-к-смерти» Хайдеггера – негативная утопия, та же самая, что занимала воображение его современников: Замятина, Олдоса Хаксли, Оруэлла).

Вопрос 5. Переплетения философии с автобиографией ценны для меня в тех случаях, когда идеи общего порядка становятся выводом из личной судьбы и индивидуального опыта мыслителя, когда жизнь, сама по себе случайная (за что её нещадно критиковал Лукач в одном из писем Блоху), оборачивается итожащему её сознанию своей необходимой для него стороной. Таковы в моём восприятии в первую очередь «Эссе» Монтеня и «С того берега» и «Былое и думы» Герцена. К этим трем сочинениям я хотел бы прибавить ещё «Охранную грамоту» Пастернака – текст о том, как стать философом в каждодневных заботах и поступках помимо и вопреки цеховой принадлежности к мастерам умозрительного труда.

Вопрос 6. Я уже сказал о том, почему не буду писать о себе как о философе. Выставлять себя на показ как человека, по-моему, имеет смысл тогда, когда этого требует предпринимаемое тобой свидетельствование о Другом, всегда более значимом, чем ты сам, по той же причине, по какой объективно сущее ценнее субъективного вмешательства в наличное и без тебя. Самоизоляция нарушает сокровенность частной сферы, делающейся публичным достоянием. Ты прощаешься с суверенностью, начиная рассказывать о себе. Но с индивидуальностью никогда не стоит расставаться. Она не товар, а неотчуждаемая собственность. Стоит оставить хотя бы часть твоей жизни никому не доступной. Идеал искренности, вынашивавшийся Руссо, не реализуем, потому что в знании о себе мы себе с неизбежностью не равны, распадаясь на «я»-постигающее и «я»-постигаемое. Как может быть доподлинно откровенным, однозначно искренним принципиально не самотождественное существо? Кроме того, вещая о себе, мы никогда не раскроем две наши главные тайны – рождения и смерти. Конечно, нет более захватывающего предмета для письма, чем «я», рвущееся во что бы то ни стало увековечиться. Но «я» сопротивляется овнешнению. Обороняемое законом интимное имеет в человеческом обиходе примат над публичностью. Автобиографии и мемуары никогда не бывают адекватными действительному положению дел даже не из-за того, что их создатели склонны брать в текстах реванш за поражения в жизни, а уже из-за того, что частная сфера невольно доказывает публичной своё превосходство над ней, выступая не вполне проницаемой. Итак, автобиографии, как мне ка-

жется, вдвойне опасное предприятие – и нарушающее право самости на автономию, и не решающее своей задачи в качестве документов.

Вопрос 7. После ухода автора его новая жизнь в текстах невозможна. Со смертью мы теряем власть над нашими текстами, выразившуюся в наших комментариях к ним, в их переписывании, защите от критики и т. п., – теперь они попадают в распоряжение посторонних нам толкователей. Так что, расчёт на продолжение авторской жизни в созданных нами сочинениях ошибочен. По своему заданию социокультура сотериологична: при своём возникновении она анимирует мёртвое в культе предков; по мере историзации она, обращаясь к будущему, обещает нам загробное воздаяние. Чаяние пережить себя в текстах – эрзац спасения. На самом деле, как только тексты перестают быть нашей собственностью, с которой мы вправе делать всё, что заблагорассудится, наступает наша «гибель всерьёз», пользуясь выражением Пастернака. Автор окончательно умирает в навязываемом ему соавторстве. Но в этом нет большой беды. То, что потомки расправляются с автором, переиначивают его замыслы, показывает, что его произведения не потеряли витальность. Проект социокультуры обманывает нас, внушая надежду на жизнь вечную, то ли в духе, то ли в теле, но он и истинен, даруя и впрямь долгую жизнь кое-чему из сотворенного нами.

Вопросы 8-10. Будучи существом сознательно (а не инстинктивно, как животные) целеустремленным, человек осмысляет своё прошлое, соответственно, в виде выполненного или невыполненного задания. Оно выполнено тогда, когда прошлое служит основанием для современности, откуда оценивается. Если же бывшее самоценно, не подготавливает настоящее, то ему приписывается значение исторического заблуждения. Прошлое в качестве предсказывающего или не предсказывающего современность изменчиво, как и она, в зависимости от её преобразующихся установок. Прошлое не мертво для истории, которая всё время заново открывает его, жива в нём, а не только в настоящем и будущем. Тот, кто даёт показания о прошлом, при всём своём желании восстановить его фактически далёк от стопроцентной достоверности. Дело даже не в том, что на память не всегда можно полагаться, что в ней образуются пустоты, и не в том, что нам во что бы то ни стало хочется быть оправданными на суде истории. Пишущий об ушедших днях и помимо своих субъективных намерений оказывается захваченным процессом пересмотра прошлого, в который его втягивает социокультура, историзованная в каждый данный момент и потому изменчиво историзирующая свои предшествующие состояния. Отбор и произвольное конструирование фактов, подлежащих изложению в мемуарах и автобиографиях, – крайности объективно присущей человеку творческой необъективности в формировании своего архива.

Вопросы 11, 13, 18, 19. Из только что сказанного следует, что любая автобиография перекраивает в той или иной степени биографию её создателя. Если пишущий обращается к этому жанру в тот момент, когда наступает middle-life crisis (такова, к примеру, «Исповедь» Льва Толстого), то составление автобиографии может становиться инструментом, с помощью которого осуществляется ломка мировоззрения. Переход автора в новое вероисповедание (метанойя) обычно преподносится с назидательной целью. Но она

не обязательна для воспоминаний, претендующих прежде всего на эстетическую ценность (скажем, для «Speak, Memory!» Набокова). Автобиография и мемуары – пересекающиеся типы текстов, отличающиеся друг от друга только тем, на чём ставится акцент – на рассказе автора о себе или на изображении эпохи и её представителей. В обоих случаях, однако, совершается попытка приостановить время, что невозможно. Но ведь и философия с её стремлением быть истиной о бытии, теряющемся в неопределённости, – проект, заведомо нереализуемый, hubris, акт взятия на себя человеком невыполнимых обязательств. Сущность человека в том и состоит, что он утверждает «всевластие мысли» (Фрейд), иногда, впрочем, одумываясь и вспоминая поговорку «Не по Сеньке шапка!».